

УДК: 82.091:821.161.3'06:821.161.1'06

Афанасьев И.Н.
(Гомель, Беларусь)

ЭПОХА КАТАСТРОФ
И «ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ОНТОЛОГИЯ» ЧЕЛОВЕКА
(из опыта белорусской литературы)

В статті аналізуються основні тенденції розвитку білоруської літератури після чорнобильської катастрофи в контексті історичних і культурних пріоритетів. Зроблено висновок про своєрідність «філологічної онтології» людини в національній літературі епохи катастроф.

Ключові слова: *Чорнобиль, війна, білоруська література, російська література, історія, культура, простір, час, танок, філологічна онтологія.*

В статье анализируются основные тенденции развития белорусской литературы после Чернобыльской катастрофы в контексте исторических и культурных приоритетов. Сделан вывод о своеобразной «филологической онтологии» человека в национальной литературе эпохи катастроф.

Ключевые слова: *Чернобыль, война, белорусская литература, русская литература, история, культура, пространство, время, хоровод, филологическая онтология.*

In this article the main tendencies of the development of Belarusian literature after the Chernobyl Disaster in the context of historical and cultural priorities are analyzed. The conclusion about special “philological ontology” of a man in a national literature of disasters era is made.

Key words: *Chernobyl, war, Belarusian literature, Russian literature, history, culture, space, time, round dance, philological ontology.*

Чернобыльские потрясения белорусского XX века определили слову роль события, в котором оно противостоит самой истории. В знаменитой повести белоруса В. Козько «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел» (1991) много говорится о разладе «высокой души и тленности плоти» [1: 27], призрачности белорусского («пошешуцкога») присутствия в мире, где «тени», «призраки» властвуют над живыми людьми, которые только в слове способны исполнить свое предназначение кем-то **быть**. Главный герой повести Янка Каганец, получивший однажды случайное прозвище «Лазарь Каганович», в согласии с ним живет до смертного своего часа и возвращается к родному имени только для того, чтобы с ним умереть, вернуться в **безымянную** вечность, к ее живой (животной?) правде, сознательно готовит себя к такому жертвоприношению. Его алтарь – обожествленное дерево, лесной клён с гнездом черного аиста-«бусла», срезанный пилой равнодушного вальщика и рухнувший на «Кагановича»-Каганца, который добровольно идет смерти навстречу и «входит в дерево» [1: 110]. Несчастный случай превращает героя всего лишь

© *Афанасьев И.Н.*, 2012

в Casus Homo перед сущим – всем, что в назидание человеку и укор ему за беспамятство посылает в повести с неба «двенадцать черных апостолов»-кабанов [1: 59], которые гибнут в заболоченной мелиорационной канаве: головой – в дно, «легким стручком хвоста – в небо». И «шчэце на крыжы дыбарам» («щетина на кресте дыбом») [1: 58]. Происшествие, случай переворачивает всю картину мироздания, меняет небо и землю местами, срывает напыщенность привычных идей, ради которых (не мира, жизни и себя!) готов жить человек, но сохраняет незабываемость высоты. Случайность, осознавшая себя таковой, происшествие, признавшее равноправие другого случая, становятся жизнью. Именно так, полешуцкими глазами своих героев-чернобыльцев В. Козько смотрит на мир: «Жыццё само па сабе выпадковае і бягзлудае... Жыццё не адзінкавае, і моц яго ў няспыннасці, менавіта ў мностве, што недаступна агульнапрынятаму вылічэнню» [1: 27].

Принцип мирозерцания, истолкованный М. Бахтиным как принцип формы [2: 55]; филологическая онтология человека, которая коренится уже в державинском «Ты есь – и я уж не ничто!», а у М. Бахтина (через Достоевского) не мыслима без «одновременности» и «вечности» всего сущего [2: 57], ближе к белорусскому литературному опыту в его исконной основе, чем это может показаться на первый взгляд. Ускоренное развитие национальной литературы на рубеже XIX – XX веков, впервые обоснованное академиком В. Коваленко, несло в себе именно эту сверхзадачу. В то время, как С. Бочаров находил в бахтинской полифонии «библейское первособытие» [2: 60] (подчеркивая, что «ты еси» есть слово не только философское, но «прямо религиозное» [2: 54]), мы искали в ней оправдание тому усердию, с каким белорусская литература и культура после Чернобыля вновь стремились всё начать с чистого листа, претворяли творчество художественное в творчество самой истории, откровенно эстетизировали ее пространство и, не ведая о том, предъявляли свои аргументы в литературоведческом (филологическом) споре вокруг самого Бахтина. Его спустя годы после кончины философа, который слово «литературоведение» произносил «с гримасой» [2: 48], затеял другой уважаемый классик – М. Гаспаров.

По С. Небольсину, потребность в Другом и диалог с ним могут (должны?) означать не парность, а множественность участников, то самое «мы», которое беспочвенность карнавала сменяет «несущей основой» хоровода [3], однако в любом случае творческий, порождающий принцип остается незабываемой данностью этого мира, скрепляет его смыслы. Претензии М. Гаспарова к М. Бахтину эти смыслы отрицают.

Если слово Другого, слово-артефакт адресовано из прошлого не мне и меня изначально не предполагает, – возможен ли бахтинский диалог между мной и моим отражением в зеркале, которое «Я» называю «Ты»? Пожалуй, тогда прав на него больше у кота Михли из повести В. Козько «Прохожий», который всё более чинно и вольготно располагается в этом зазеркалье, приводя в смятение главного героя: «...вчера посмотрел в зеркало и вздрогнул, увидел перед собой чье-то чужое, незнакомое мне лицо, только отдаленно похожее на мое. Что-то неуловимо кошачье сквозило в нем. У меня, как и у моего Михли, вишневым жухлым листиком заострились и разбежались антенной, оттопырились уши. И лицом я потемнел, порыжел. Но больше всего поразили меня усы... а-ля ... Михля. Показалось, что тот, в зеркале, даже зашипел на меня по-кошачьи, то ли я не удержался, зашипел на него: два кота – мартовская драка и кошачья свадьба» [4]. И

хоть потянулась рука, чтоб сорвать со стены то «злокозненное зеркало», однако: «нечего на зеркало пенять, когда морда крива. Нашелся второй Александр Македонский» [4].

Если философия и литература есть область творческая, а филология – область исследовательская [2: 48 – 49], то причисляет ли филологу-исследователю усложнять то, что следует систематизировать, упорядочить и упростить? Действительно, разве бело-снежно-величественный, сияющий «Тадж-Махал» Чернобыльской АЭС (каким увидел ее обманчивую роскошь А. Адамович в киносценарии «...Имя сей звезде – Чернобыль» [5: 272]) не оказывается на поверку смердящей «вонючкой» [5: 287], убеждая в неопровержимых резонах именно такого упрощения не только стилистикой чернобыльского киносценария, но изгнанием человека из вчерашнего пространства жизни, сжатием его среды обитания, низведением самого до элементарных нужд и потребностей выживания?

Всё верно. Однако именно то, что объявлено иллюзией, во чреве катастрофы прокладывает литературе, культуре и человеку путь между гаспаровскими (бахтинскими) Сциллой и Харибдой, ужаснее которых – открытие из повести В. Козько: «... людзі адрывулі страх, таму што людзьмі яны зваліся толькі паміж сабой, а ў іншых мясцінах сапраўдныя, не пазначаныя радыяцыйны людзі пазбягалі іх» («Вырагуй і памілуй нас, чорны бусел») [1: 56]. Невозможность диалога, разделенность с другими таким знанием о беде, которое иным недоступно, делает непреодолимым тягу к ним, утверждает веру в Другого – слушающего, слышащего и мыслящего. Потеря жизненного пространства, засыпанного радиацией, боготворит спасительный клочок чистой, живой земли под ногами и возводит эту не замеченную раньше простоту в благовейную преданность всему сущему, переполняет душу высшей творящей любовью. Утрата всего приближает человека к первособытию, вселенское одиночество становится не завершением, а истоком. Сакрализация пространства, ценного тем больше, чем безвозвратнее оно потеряно, исполняет религиозную заповедь «ты – ешь» во всеединстве всех со всеми. Наблюдение А. Адамовича: «Собаки в Чернобыльской зоне. Очередь к человеку, чтобы подойти и “хвостиком вильнуть”». Им страшно тут без человека. Ни хлеба, ни мяса не просили, а ласки» [6: 57]. Диалог бессловесных. Пространство утраты.

В белорусской литературе и культуре после Чернобыля оно становится едва ли не ведущей темой, наполненной поистине сакральным смыслом. Национальное пространство не только сакрализует себя через расставание, прощание навсегда (вспомним книгу-реквием М. Метлицкого родной деревне – «Бабчын», поэзию М. Башлакова, где региональное, земляческое белорусские поэты сделали масштабом всемирного). Оно создается, сохраняя и приумножая всю символическую атрибутику. Не потому ли такую важную роль в культуре нового белорусского (последчернобыльского) Возрождения начинает играть Город – Вильня, прародительница национального бытия, колыбель белорусского XX века как эстетического проекта, и Полоцк, оплот белорусской государственности, породивший общностью устремлений историков и литераторов в «Старажытнай Беларусі» М. Ермоловича и полоцких циклах В. Орлова, организовавший формы национальной творческой жизни, порой – в непримиримом контрапункте («Таварыства Вольных літаратараў» и «Полоцкая Ветвь»). Он лишь подтверждал сакральную притягательность Города – реального настолько, насколько и взлелеянного в смелых мечтаниях, которым свое рассудочное толкование предложил Ю. Лотман. В символическом пространстве, идеализированной модели вселенной город всегда – центр, «идеальное

воплощение *своей* земли» [7: 276]. В соответствии с экзистенциальным кодом он отсутствует в реальности и еще должен появиться как «единственный истинно сущий» [7: 276]. Почему бы и не тот, что во множестве приснился неунывающему рассказчику из «Прохожего» В. Козько, догнал из не досмотренных им в детстве и молодости снов: «голубые, блуждающие в розовых туманах энтузиазма ни к земле, ни к небу не привязанные города...» [4]. Правда, их символическая недоступность на удивление приближена к земле, ведь только в этих несуществующих городах героя щедро угощают тем, что ему невтерпех было попробовать в детстве, но так и не пришлось вкусить...

Презрев сермяжные идиллии деревенского мальчугана, сакральное пространство города может прирастать внутренне, восполнять себя культурным заимствованием, новым приобретением уличать традицию в былой онтологической ущербности, ныне успешно преодоленной. На языке формализма это называется «противопоставление литературно-имманентной “эволюции” (“традиции”) и внехудожественного “генезиса”» [8: 357], которое в результате делает принадлежностью национальной культурной традиции то, что изначально, в качестве некоего иностранного образца, ей противостоит, но впоследствии именно в ней обнаруживает свою генетическую востребованность. Характерная для авангарда игра с приемом в белорусском случае на языке функции и простого заимствования, в пережитой наяву «технике отрицания» выразила ожидание национальной культуры, которая искала своей идентичности в слове, в эстетическом событии и с легкостью благословила иноземного гостя на национальное служение. Артефакт новой национальной литературы, авангард готовился стать вровень с привычным, издревле понятным словом (которому М. Гаспаров выписал тот же инвентаризационный номер: «письменный артефакт» [9: 18]), однако возложить на себя полномочия литературной традиции все-таки не успел. Письменное слово упредило «бум-бам-литовские» рулады (ритуал бражания тазиком на заседаниях популярного в 1990-е авангардистского объединения «Бум-Бам-Лит» хорошо памятен любителям белорусской словесности). Исключив монополию перформанса, оно взломало статичность, окаменелость «артефакта» и ушло в устную историю.

Самонадеянные атомщики могли отнести к ней «мнение неспециалиста» А. Адамовича, который вторгся в специальную сферу физики и, создавая полноту гуманитарной ответственности за происходящее в Беларуси после Чернобыля, перевел на простой разговорный язык то, что специалисты скрывали в кружевах формул, предъявил сомнительный запас прочности их расчетов в растерянном обещании «спецов»: «Честное слово, больше не взорвется» (острая полемическая работа А. Адамовича под таким названием впервые была опубликована в «Новом мире»).

Встревоженная власть на рубеже 1980 – 1990-х могла запечатать правдивое и горькое слово о Чернобыле в «устном жанре» литераторов, лишенных письменного высказывания на тему (в их число, по свидетельству А. Адамовича, помимо него попадут белорус В. Козько и украинец Ю. Щербак [10: 212]).

Само слово о Чернобыле могло «исходить криком» публицистики [11: 162], когда ей было уже не до романов и повестей.

Но главное: слово вырывалось из сюжета, освобождалось от него, чтобы в конце концов взять над ним власть. Чернобыль приучал литературу к «первособытию», которое больше не противилось слову и удовлетворялось горизонтами Бахтина, четко от-

раженными у С. Бочарова на примере бахтинского прочтения романов Достоевского: «слово у него стоит над сюжетом», никого не спасает в сюжете, но возвышается над ним и остается «как слово-вершина» [2: 63].

В январе 1992 года, после распада Советского Союза, А. Адамович выказывает решимость объять словом уже сюжет действительного исторического события и написать «посткомментарии» к антиутопии «Последняя пастораль» [12: 400]. Иначе говоря: постфактум прокомментировать книгу о будущем **не случившемся** событии, которое сейчас, за строкой собственного произведения, готов оценить как наступившую историческую реальность. Этим поступком, самой направленностью его он сознательно обрекает себя на одиночество, встречное сопротивление, вечную неуступчивость оппонентов, ибо пытается словом («словом-вершиной?») изменить трагический ход вещей, усмотрев в нем не столько катастрофу отдельной гибнущей страны – своей Родины, сколько жертвенное спасение всего человечества («развалилась система ядерного противостояния»), «жизнь пошла другим путем» [12: 400]. И за это, а не за «капитализм» [12: 401], жертву принес наш народ, ценой распада и будущих своих несчасть «спас род человеческий» [12: 401].

Такой – используем излюбленный образ писателя – «Достоевский после Достоевского» XXI века гораздо ближе к первоисточнику-прототипу, чем можно было бы вообразить, если не знать об утопической идее романа Достоевского, когда «невозможное возможно» в метаистории [2 : 59]. Случившееся (в антиядерной прозе А. Адамовича), которое предотвращено (в реальной истории), принимает одновременность и одномоментность всего как единственное свидетельство Слова о событии, которое подчиняется ему. И уже не удивляет, а, напротив, приобретает неопровержимость исполненного удела все то, что разбросано в большое время и собрано под крылом «метаистории»: «Хатынь притягивает Хиросиму» [6: 15], пережитое белорусами в 1941 – 1945 – «атомная война обычными средствами» [13: 175], «“Иди и смотри” – фильм и о ядерной войне» [12: 349]. Только бы не упустить изначальную и обретенную власть Слова над историей, не заменять его спасительное прозрение на ядерные амбиции новых политиков, взошедших на развалинах страны. Об этом печаль и тревога А. Адамовича 1992 года. Об этом – его повесть-антиутопия «Последняя пастораль» в 1987-м.

Построив композицию «Пасторали» в виде «спирали» («снова и снова показывается то, что уже было» [14: 431]), материализовав каждый ее виток в эпиграфах из разновременных озарений человеческой мысли и культуры (Максим Богданович, Янка Купала, Библия, Апулей) А. Адамович развернул само литературное произведение в цитату исторического факта и превратил слово в событие. Чуть раньше произнесенное А. Адамовичем о Победе, оно и там утверждает ее одномоментную множественность: одна – на груди Генералиссимуса, другая – у тех, кому достались паспорта, «совсем иная» – «у беспаспортных колхозников» [15: 202]. «До» и «после» Войны – Чернобыля требуют от слова «метаисторического» соответствия. И вот уже «деревенские малолетние ошиванцы» [16] из повести В. Козько «Время собирать кости» в первую послеоккупационную весну расстреливают с берега вымытые водой и плывущие по реке вздутые немецкие трупы, которые при попадании выпускают наружу смрадный пар, уходят на дно и словно расчищают в «Прохожем» водный путь маленькому плотнику из газеты с непотопляемым котенком наверху, с которым герой повести вдруг обнаружит «почти единое начало» [4]. «Прохожий в этом мире, странник», которому «хочется памяти, пускай в звере, траве,

дереве» [4], поймет отчаянного сироту-приблуду, дикую живую душу так, как только возможно в строгом строе хоровода, где вот-вот мелькнет уже и мальчонка-автор, что по неведению, наугад, цел и невредим прошел когда-то с бабушкой по минному полю войны (воспоминания В. Козько об этом опубликованы в гомельском сборнике «Война в славянской литературе» [17: 179 – 180]. Однако пробьет в «Прохожем» час кометы Апокалипсиса, «восстанут мертвые и переменятся живые» [4] – и вертикаль хоровода-круга утратит свою высоту, распластается в горизонталь карнавального перевоплощения. Тогда и выйдут из пылающей хаты, огню не податливые, не человек и бедовый его кот Михля, а «два рыжих кота» [4], оставив позади себя пожарище. Тадж-Махал наших грёз. У бездны на краю...

ЛИТЕРАТУРА

1. Казько Віктар. Выратуй і памілуй нас, чорны бусел / Віктар Казько // Польша. – 1991. – № 9. – С. 13 – 110.
2. Бочаров Сергей. Бахтин-филолог: книга о Достоевском / Сергей Бочаров // Вопросы литературы. – 2006. – № 2. – С. 48 – 67.
3. Небольсин Сергей. Карнавал или хоровод / Сергей Небольсин // Литературная газета. – 2004. – № 31. – Режим доступа : <http://www.lgz.ru/1092>. – Дата доступа : 26.04.12.
4. Козько Виктор. Прохожий / Виктор Козько // Дружба народов. – 1996. – № 4. – Режим доступа : <http://magazines.russ.ru/druzhiba/1996/4/kozko-pr.html>. – Дата доступа : 26.04.12.
5. Адамович А. М. ... Имя сей звезде – Чернобыль. Сценарий кинофильма / Алесь (Александр Михайлович) Адамович // ... Имя сей звезде – Чернобыль / сост. Н. А. Адамович. – Минск : Ковчег, 2006. – С. 272 – 307.
6. Адамович А. М. Из записных книжек (май 1986 – 1992 гг.) / Алесь (Александр Михайлович) Адамович // ... Имя сей звезде – Чернобыль / сост. Н. А. Адамович. – Минск : Ковчег, 2006. – С. 7 – 86.
7. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история / Юрий Михайлович Лотман. – М. : Языки русской культуры, 1996. – 262 с.
8. Ханзен-Лёве Оге А. Русский формализм : Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения / Оге А. Ханзе-Лёве. – М. : Языки русской культуры, 2001. – 672 с. – (Studia philologica).
9. Эмерсон Кэрил. Двадцать пять лет спустя : Гаспаров о Бахтине / Кэрил Эмерсон // Вопросы литературы. – 2006. – № 6. – С. 12 – 47.
10. Адамович А. М. Чернобыль и власть / Алесь (Александр Михайлович) Адамович // ... Имя сей звезде – Чернобыль / сост. Н. А. Адамович. – Минск : Ковчег, 2006. – С. 203 – 225.
11. Адамович А. М. Тихое имя [Из интервью] / Алесь (Александр Михайлович) Адамович // ... Имя сей звезде – Чернобыль / сост. Н. А. Адамович. – Минск : Ковчег, 2006. – С. 159 – 162.
12. Адамович А. М. «От не убий человека до не убий человечество». Из записных книжек (1982 – 1992 гг.) / Алесь (Александр Михайлович) Адамович // ... Имя сей звезде – Чернобыль / сост. Н. А. Адамович. – Минск : Ковчег, 2006. – С. 309 – 402.

13. Адамович А. М. Лицом к Апокалипсису / Алесь (Александр Михайлович) Адамович // ... Имя сей звезде – Чернобыль / сост. Н. А. Адамович. – Минск : Ковчег, 2006. – С. 174 – 185.

14. Адамович А. М. К «Последней пасторали» (из записных книжек) / Алесь (Александр Михайлович) Адамович // ... Имя сей звезде – Чернобыль / сост. Н. А. Адамович. – Минск : Ковчег, 2006. – С. 421 – 431.

15. Адамович А. М. Куропаты, Хатынь, Чернобыль / Алесь (Александр Михайлович) Адамович // ... Имя сей звезде – Чернобыль / сост. Н. А. Адамович. – Минск : Ковчег, 2006. – С. 189 – 202.

16. Козько Виктор. Время собирать кости / Виктор Козько // Дружба народов. – 2006. – № 12. – Режим доступа : <http://magazines.russ.ru/druzhba/2006/12/ko2-pr.html>. – Дата доступа : 26.04.2012.

17. Козько В. А. Правда гораздо глубже и страшнее / Виктор Афанасьевич Козько // Война в славянской литературе / сост. И. Н. Афанасьев. – Мозырь : ООО ИД «Белый Ветер», 2006. – С. 177 – 180.

УДК 821.01.03.

*Денисенко С.Н.,
(Львів, Україна)
Тараба І.О.
(Житомир, Україна)*

КОД КУЛЬТУРИ І МОДЕЛЮВАННЯ ДІЙСНОСТІ (на матеріалі фразеології)

Поняття 'код культури' у сучасній лінгвістиці набуває актуального прочитання у контексті праць представників когнітивного порядку.

Пізнаючи та усвідомлюючи себе, людина переходить до пізнання і усвідомлення себе у світі їй подібних, і, таким чином, вступає у світ людей, а усвідомлення часу необхідно їй для того, щоб розташувати події відносно часової вісі по відношенню одна до одної.

Ключові слова: код культури, представники когнітивного порядку, усвідомлення часу, розташування подій відносно часової вісі по відношенню одна до одної.

Понятие 'код культуры' в современной лингвистике приобретает актуальное прочтение в контексте работ представителей когнитивного порядка.

Познавая себя, человек переходит к познанию и осмыслению себя в мире себе подобных, и, таким образом, входит в мир людей, а осмысление времени необходимо ему для того, чтобы расположить события относительно временной оси по отношению друг к другу.

Ключевые слова: код культуры, представители когнитивного порядка, осмысление временем, расположение события относительно временной оси по отношению друг к другу.

© Денисенко С.Н., Тараба І.О., 2012